

© 2016 г.

О.А. ОБЕРЕМКО

## ВОЛОНТЕР ИЛИ ДОБРОВОЛЕЦ: ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ ДЛЯ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

---

*ОБЕРЕМКО Олег Алексеевич – кандидат социологических наук, доцент кафедры методов сбора и анализа социологической информации Научно-исследовательского университета “Высшая школа экономики”, Москва, Россия (ooberemko@hse.ru).*

---

**Аннотация.** На основе сравнения близких по значению слов “волонтер” и “доброволец” показано, какие типичные смыслы могут использоваться для обоснования (оправдания) социальной самоидентификации в ситуации, когда выбор делается в отсутствие семантически значимых различий. Исследовательский вопрос можно сформулировать так: какого рода аргументация может заменять содержательную аргументацию в ситуации вынужденного выбора между двумя семантически близкими понятиями. Выявлено, что в ситуации отказа от содержательных объяснений идентификационного выбора используются процессуальные объяснения, которые сводятся к указанию (1) на ассоциации предпочитаемого слова с положительной эмоцией, (2) на понятность и (3) привычность употребления. Обнаруженные варианты объяснений информантами предпочтений соответствуют трем экспериментально выявленным компонентам – аффективному, когнитивному и поведенческому – социальной установки (*attitude*). В статье делается вывод о том, что брендование массового движения словом, которое воспринимается как иностранное, позволило ознаменовать победу над памятью о демократизирующих инициативах из-за рубежа, но одновременно лишило локально мыслящих активистов движения использовать для самоназвания предпочтительное слово.

**Ключевые слова:** дискурсивная идентичность • открытые вопросы • компоненты и функции социальной установки • волонтеры • добровольцы

Согласно теории социальной категоризации Дж. Тернера, в социальном пространстве “знание о том, что думать” о мире, обуславливается “знанием о том, кто ты есть” [Abrams et al., 1990]; осмысление всякого объекта зависит от того, как мыслитель мыслит себя сам, к какой социальной категории, к исполнителю какой социальной роли он сам себя относит: в одном и том же субъекте доцент видит студентку, отец видит дочь, а ухажер – предмет своих желаний; ролевая оптика обуславливает репертуар поведения. Этот постулат позволяет развивать экспериментально проверяемые теоретические объяснения (интерпретации) как для устойчивости, так и для вариативности поведения социальных субъектов в различных ситуациях. В этой перспективе объяснения социального поведения выводятся из самокатегоризации – из того, как человек определяет сам себя, к какой социальной группе (с соответствующим ролевым репертуаром) он себя относит.

При формировании сегмента практической деятельности “снизу” вовлеченные акторы подбирают себе самоназвание, чтобы сообщить (себе и другим) о своем принятии соответствующей социальной роли; когда институты проектируются “сверху”, самоназвание предлагается проектировщиком. Широкое вовлечение в зарождающийся или расширяющийся сегмент практики и формирование групповой идентичности

предполагают некоторую гармонию между процессами автокатегоризации (самоидентификации) и гетерокатегоризации (нас-идентификации), без которой затруднено (вос) производство приемлемых для (потенциальных) участников смыслов социального действия в формирующемся сегменте практической деятельности [Turner, Oakes, 1989].

Одна из широко распространенных новаций в России – развитие волонтерского / добровольческого движения. В русском языке этот сегмент социальной практики обозначается двумя синонимичными словами, что отмечено словарями, отражено в проекте закона “О добровольчестве”, в котором употребляются оба слова [О добровольчестве, 2013].

Результаты полевых исследований показывают, что словам “волонтер” и “доброволец” приписываются сходные значения [Ресурс добровольческого..., 2012; “Формальное”..., 2012], а различия отмечаются только во второстепенных смыслах, что свойственно всем синонимам. Однако в применении этих понятий могут обнаруживаться существенные различия, диктуемые морфогенезом организаций, объединяющих под своим крылом волонтеров и/или добровольцев. “Доброволец” типично связан с самоорганизацией в локальном контексте. “Волонтеры” же в 1990-е гг. стали появляться под эгидой и/или по образцу западных некоммерческих организаций, нацеленных на модернизацию гражданского участия в постсоветской России, а с середины 2000-х гг. волонтеры стали появляться при активной поддержке властей федерального и регионального уровней, в том числе и для обслуживания крупных спортивных событий; произошел своеобразный ребрендинг “волонтерства”, который со сворачиванием деятельности волонтеров, подпитывавшейся “иностранными агентами”, праздновал победу. Каждый из этих морфогенезов (различных течений добровольчества), естественно, сопровождается (вос)производством своих специфических нарративов, которые фиксируются в развернутых ответах на соответствующие вопросы теми информантами, которым есть что сказать, поскольку они получили “инвестиции” в свою компетенцию “идеолога”. Это – “сильные”, сознательные участники движения, они составляют его ядро и находятся в меньшинстве.

Возникает вопрос, как два конкурирующих слова воспринимаются слабо вовлеченными в идеологию участниками движения, которые составляют потенциал для его развития, и в силу этого еще не включились в активное производство “корпоративных” нарративов? И второй вопрос: каких социальных установок можно ожидать от участников движения в ситуации, содержательно не нагруженного выбора слова для самоопределения?

Технически слабо вовлеченных в идеологию участников репрезентируют информанты, которые в интервью – *при высокой заинтересованности в разговоре и установившемся контакте с интервьюером* – не демонстрируют развитую компетентность по производству нарративов. Интервью именно с такими информантами дают представление о том, как происходит самокатегоризация без или до приобретения запаса знаний, необходимого для информированного, сознательного и содержательно аргументированного выбора понятия для самоназвания. Именно в такой познавательной позиции находятся новички и те опытные участники, которых привлекает в избранной деятельности сама деятельность, а не ее содержательное обоснование. Смысловую бедность познавательной ситуации сообщает и синонимия альтернативных выборов: одно дело выбирать между “казаками” и “разбойниками”, имеющими различные прямые и коннотативные значения и занимающими полярные ниши в социальном пространстве, и совсем другое дело выбирать между “волонтером” и “добровольцем”.

В статье на примере дискурсивного противопоставления близких по значению слов “волонтер” и “доброволец” показано, что в ситуации *отказа от содержательной аргументации* для объяснения идентификационного выбора из семантически близких понятий используются *процессуальные* объяснения, которые сводятся к указаниям (1) на ассоциации предпочитаемого слова с **положительной эмоцией**, (2) на **понятность** и (3) **привычность** его **употребления**. Иными словами, выбор слова объясняется не его содержанием, а указанием на процесс, с которым слово связано в моем опыте:

я выбираю слово для самоидентификации, потому что оно вызывает у меня **положительную эмоцию**, потому что я **понимаю** его, потому что **употребляю** его. Обнаруженные варианты объяснений информантами своих предпочтений соответствуют трем экспериментально выявленным компонентам – аффективному, когнитивному и поведенческому [Smith, 1947] – социальной установки (attitude). В статье демонстрируется, как был получен указанный результат, и дается его интерпретация. Для всех вариантов *процессуальных* объяснений типично указание на *близость* предпочитаемого слова. Полную схему высказанных обоснований выбора слова можно представить так: слово мне ближе, потому что оно приятнее, потому что оно понятнее, потому что я его употребляю (а не наоборот!).

Эмпирической основой статьи послужил массив 160 интервью с практикующими добровольцами-волонтерами, собранными в Краснодаре, Перми и Самаре летом 2012 г. в рамках проекта “Формальное и неформальное молодежное добровольчество”. Гид предусматривал три вопроса в одном: Какое из слов Вы предпочитаете: волонтер или доброволец? В каких ситуациях, почему? В чем разница между этими двумя словами? Для анализа из массива были отобраны *все* 24 интервью (из 160), в которых предпочтение между словами “волонтер” и “доброволец” обосновывается без *указания* на содержательные различия.

Социально-психологическая теория социальной категоризации вполне соответствует центральному предмету веберовской социологии – социальному действию, атрибуты которого суть “иметь субъективный смысл”, “быть ориентированным на другого” и тем самым предполагать осмысленный отклик (или осмысленное воздержание) другого [Вебер, 1990: 602–603, 625–628]. “Идентичность” в теории Дж. Тернера, как продукт самокатегоризации, сравнима с веберовским понятием “ценность”, или “значимость”, понимаемым как “соотнесенность человека с миром вещей, людей и духовных явлений” [Кравченко, 2001: 123]; точно так же и (само)идентичность есть результат соотнесения себя со всеми значимыми другими; определяя себя, одновременно определяем других, и наоборот.

“Носителем ценностей является личность, постигающая их в опыте внутреннего принятия или отталкивания. (...) Именно отнесение к ценности как придание смысла, на основе которого формулируется цель, указывает нам самое главное, что определяет поведение человека” [Кравченко, 2001: 123]. Можно повторить, что “носителем идентичности является личность”, и далее, если подчеркнуть, что постижение идентичностей “в опыте внутреннего принятия или отталкивания” не может трактоваться солипсично, поскольку подразумевает интериоризацию внешнего мира, включение в Я, и того, чем Я не является. Принятие или отвержение себя в качестве доцента и автора может быть *осмысленным* только внутри мира, объединяющего мир академии и мир чтения. “[К]ак полагал Вебер, если нам удастся понять, какова та ценность, на которую ориентировано действие человека, мы поймем само это действие, и миссия социолога будет выполнена” [Кравченко, 2001]; если заменим “ценность” на “самоидентичность”, мы из программы Вебера получим программу Тернера.

### 1. Эмоциональный выбор: ближе, что приятнее

Во всех без исключения цитатах **эмоционально** выбирается только слово “доброволец” и ни разу – “волонтер”. Эмоциональная близость слова ощущается душой как “теплота”; для уха близкое слово звучит “приятнее”, “роднее”, “милее”. При этом типично указание на отсутствие содержательной разницы между словами:

...слово доброволец **ближе**. [...] у нас, в *нашем* языке появилось в последнее время *больше заимствований*. Всё-таки я за культуру *родного* языка. Мне больше *приятны русские выражения и слова*, которые зачастую даже *звучат приятней для нашего уха* (K12, 238–245).

Кто-то фокусируется на позитиве, говоря, что слово “доброволец” нравится, кто-то – на негативе, – что “волонтер” не нравится. Даже в минимально содержатель-

ных ответах проступает образ “мы” и “нашего”: русскому уху и душе *приятны* русские слова, а язык и слово понимаются как *наше* достояние, общее для “мы”. Нам приятнее *наше*, а чужое – нет.

Эмоциональному выбору в пользу слова, которое считается родным, не мешает ни понимание того, что “волонтер” и “доброволец” синонимичны по своему значению, ни признание в том, что “волонтер” успело стать привычным самоназванием, ни отмечаемая в других интервью государственная поддержка олимпийского волонтерства (не добровольчества!).

Таким образом, давление власти и узуса не обеспечивает эмоционального принятия слова. Внешне можно выработать (допустить у себя) привычку, подчиниться властному регулированию, но внутреннего эмоционального принятия внешнее подчинение не обеспечивает.

## 2. Когнитивный выбор: ближе, что понятно

К этому типу отнесены ответы, в которых предпочитается “близкое”, потому что оно “понятно”; в логике антонимического противопоставления можно предположить, что “менее понятное” слово видится далеким (или менее близким) [Оберемко, 2010]:

“Доброволец” [предпочитаю], потому что “волонтер” – это нерусское слово, пришло из другого государства. Корень “добро” для меня **ближе** и *понятнее* (С43, 233–235).

Из разбора цитат с указанным смыслом напрашивается вывод: понятность “русских слов русскому человеку” объясняется спецификой (или дефицитом) культурного опыта не только самого коммуникатора, но и реципиентов, то есть культурным горизонтом людей, среди которых действует волонтер/доброволец. Понятность слова трактуется через возможность установить связь между словом и *известным из опыта* референтом. Тому, кто работает в российском контексте, понятным представляется “доброволец”, тому, кто работает в международном контексте, – волонтер. Некоторые информанты в качестве препятствия для понимания указывают границу между этно-языковыми мирами и/или между государствами, как будто государственно-политическая категоризация делает невозможным понимание культурного кода. Разумеется, объективно никакая барьер для понимания не является абсолютно непроницаемым, поскольку характеристика одного понятия как *более близкого* предполагает хотя бы минимальное знакомство с обоими понятиями.

К тому же, оба понятия могут быть знакомы и понятны, но *свое* слово трактуется как *более близкое* и *более понятное* даже тогда, когда синонимия обоих слов признается: Ну, “доброволец” – слово **более близкое**, потому что там *слышишь слово “добро”*, но, по сути, “доброволец” и “волонтер”, *по смыслу* – слова синонимы... (К27, 321–326). Объективно оба слова близки, принадлежат русскому языку и понятны; иначе вывод и синонимии был бы невозможен.

Но в конструктивистской парадигме одно слово все-таки ближе и *более русское*; это слово “доброволец”. Понятность и близость обосновывается метафизически – ясным в *принципе* для уха значением слов “добро” и “воля”. Тот же, кто включает в международный контекст, понимает слово “волонтер” *на практике* – и *ухом* (когда кто-то говорит), и *глазом* (при чтении литературы), и в *производстве собственной речи* (при говорении, переводе).

## 3. Деятельный выбор: близость как привычность

Аргумент привычки как будто бы снимает ответственность за личностный выбор; *дух современной российской практики* всех делает волонтерами. Если в субдискурсе эмоциональности и понятности выбор делается в пользу “добровольца”, то в субдискурсе привычности предпочтение отдается только “волонтеру”. Выходит, активное участие в институционализированной деятельности всех добровольцев обращает в волонтеров: Волонтер как-то **ближе**, потому что западное слово, не знаю, *привыкла*. Доброволец, может быть, неплохое, конечно, русское, ну, не знаю. – Да [предпочитаю волонтер].

Может быть, это вопрос *привычки*, с другой стороны, *просто объяснить не могу* (С29, 275–280).

Все указания на практику употребления подразумевают информированный выбор между локальным и интернациональным вариантом в пользу второго. Привычка прививает заимствование, которое больше не вызывает реакций отвержения. И давление узуса заставляет употреблять “чужое” слово даже вопреки личному предпочтению “родного” слова: *Почему мы должны заниматься волонтерами, если у нас есть доброволец?! Но “волонтер” используется намного чаще. Даже по названию у нас все-таки “Волонтерский центр”, а не “Добровольческий центр”*. Скажем так, здесь я – заместитель директора “Волонтерского центра”... (К08, 216–234).

Речь в данном случае идет о том, что официально образовался центр с глобалистским названием, но у его руководства стоит человек, предпочитающий локальное самоназвание. Создание властной вертикалью локального дублера глобально брендированного движения приводит к успеху: “волонтер” вытеснил из официального употребления “добровольца”, однако эмоциональной окраски пока не приобрел.

#### 4. Амбивалентность узуса

Самоидентификационный раскол на “глобалистов” и “патриотов” иногда реализуется в одной единственной голове в зависимости от контекста: в одном контексте один и тот же человек может представляться гражданином мира, в другом – ограничиваться локальным горизонтом: Если честно, я стараюсь не ввязываться в эти странные и удивительные для меня споры о том, доброволец или волонтер. – Мне **ближе** то, что я *чаще использовал*. Хотя бывают случаи, когда нам в заявках надо писать “доброволец”, а не “волонтер”. Все очень *смешно* (С23, 314–322). В принципе, разница в том, что *русское – всегда ближе*. [...] В принципе, мы везде пишем “волонтерско-добровольческая деятельность” (*Смеется*) (К35, 252–263).

В обоих случаях *смех* при указании на готовность употреблять оба слова по ситуации маркирует вместе с иронией самоиронию; функционально эта амбивалентность аналогична известному универсальному обращению “гражданин-товарищ-барин”, отразившему многоукладность эпохи смутного послереволюционного времени.

**Обсуждение результатов.** Что может означать уход от содержательного самоопределения в *дискурс модальностей восприятия вербальных средств самоидентификации*, посредством которого интервьюеру репрезентируется не сложное установочное образование (социальная идентичность), а лишь отдельный компонент аттитюда? Рассмотрим определения аттитюда и его функции.

К настоящему моменту сложилось два крайних понимания аттитюда: как устойчивого личностного образования и как эмерджентно порождаемой потребностью личности адаптироваться к изменчивой ситуации конструкта (см., напр.: [Banaji, Heiphetz, 2010: 356–358]). Первое понимание восходит к классическому определению Г. Олпорта: “организованное посредством опыта состояние готовности ума и нервной системы, оказывающее направляющее или динамическое влияние на реакцию индивида на все объекты и ситуации, с которыми реакция соотносится” [Allport, 1935: 810]. Преобразуя “классику”, У. Макгвайр формулирует второе понимание, сводя аттитюд к «реакциям, которые размещают “объекты мысли” “в измерениях суждений”» [McGuire, 1985: 239]. Суть конструктивистской критики, направленной Н. Шварцем и Г. Бонером [Schwarz, Bohner, 2001] на эссенциализм “традиции”, передается следующим образом: «Теоретики аттитюда традиционно определяют свой конструкт так, как будто он представляет готовую “вещь”, которая сидит в памяти в ожидании того, что её вытащат, используют и вернут на место» [Banaji, Heiphetz, 2010: 357]; Н. Шварц настаивает на том, что в аттитюдах правильнее видеть (не более чем) оценочные суждения, “формируемые при возникновении потребности, а не длительные личностные диспозиции” [Schwarz, 2007: 635].

Обе эти трактовки в своих полярных и умеренных проявлениях могут адекватно описывать происходящее в ходе интервью: одни информанты могут выражать устойчи-

вые диспозиции, обращаясь к своей памяти, другие – ситуативно формулировать ответ непосредственно на заданный вопрос. Отбор информантов с опытом волонтерской/добровольческой деятельности, разумеется, ориентировался на фиксацию устойчивых диспозиций, но что на самом деле зафиксировалось, теперь установить трудно. Однако независимо от трактовки (эмерджентной изменчивости или “вещной” устойчивости) аттитюда его трехкомпонентная структура под сомнение обычно не ставится.

Теперь зададимся вопросом: какие функции имеет публичное выражение аттитюдов? Может быть, ответ позволит прояснить смысл отказа от сложных ответов в пользу простых. Некомпетентность, неспособность ответить на вопросы интервью мы исключаем, поскольку компетентность гарантирована выборкой. Идеи о сензитивности вопроса и плохого контакта интервьюера с информантами также отмечаются по результатам прослушивания аудиозаписей.

Согласно функциональной теории Д. Катца (которая, несмотря на преклонный возраст, цитируется до сих пор и вдохновляет новых исследователей на ее развитие), основания для того, чтобы индивид поддерживал и изменял свои аттитюды, обнаруживаются в четырех функциях: (социальной) адаптации, экстернализации (манifestации) ценностей, защиты своего Я и познания (себя и окружающего мира) [Katz, 1960].

В своих активных функциях аттитюды (и идентичности, как аттитюдные образования) “облегчают [индивиду] вхождение в желаемые отношения и помогают их поддерживать, в то время как выражение неприемлемых аттитюдов несет угрозу подобным отношениям и ускоряет их прекращение” [Eagly, Chaiken, 2010: 305]; через экстернализацию самоопределений выражаются “личностные ценности и другие ядерные аспекты Я-концепции”, а также удовлетворяются “потребности людей в прояснении и укреплении Я-концепции” [ibidem], экстернализация способствует саморазвитию и самореализации через формирование благоприятного образа своего Я в социальном окружении; функция познания берет начало в потребности в понимании, упорядочении и осмыслении окружающего мира [Katz, 1960: 175–176, 192]. Эти активные функции едва ли могут находить свое выражение в отобранных примерах редукции социальной идентичности к отдельным компонентам аттитюда.

Остается последняя функция – защиты своего Я от угроз “потери лица”, поступающих как из внутреннего, так и внешнего миров [Katz, 1960: 172–173, 192]. Поскольку у нас нет оснований считать заданные в интервью вопросы угрожающими “потерей лица” (сензитивными), примем мягкую интерпретацию: *за редукцией идентичности к отдельным компонентам установки стоит отсутствие заинтересованности информантов в реализации активных функций аттитюдов* – установления отношений, саморазвития и самопознания. Отсутствие заинтересованности в активных функциях аттитюда препятствует содержательному разговору. Тем не менее, несмотря на уклонение от прямого содержательного ответа, в процессном дискурсе раскрылась некоторая семантика самоидентификации участников волонтерского/добровольческого движения.

1. Самоидентификация через дискурс эмоций апеллирует к нерелефлексивной настроенности чувств (души) и слуха на “родную речь”, которая предстает в виде общего наследия этнокультурной общности “мы”, противостоящей неопределенной чужой массе “они”. Основанный на эмоциональной привязанности выбор самоидентификации дискурсивно предстает как сопротивление доминирующему употреблению вокруг и даже собственной практике употребления “чуждого душе” концепта. Дискурс эмоций в качестве значимого участника различает только собственное Я, которое слышит и чувствует.

2. Самоидентификация через дискурс понятности, как и дискурс эмоций, делит мир на свое и чужое пространства по этнокультурному признаку, но характеризуется большей рефлексивностью. Рефлексивность выражается в том, что при характеристике понятности в качестве релевантного участника различается не только собственное Я (и его компетенции), но и компетенции партнеров Я по общению. Соответственно,

барьеры не/понимания видятся в более конструктивистской, нежели в эссенциалистской перспективе. Собственно понятность связывается не только с модальностью слуха, но и с модальностями зрения (чтения) и речевого действия. По-видимому, за дискурсом понятности стоят наиболее устойчивые выражающие ценности (самоидентификацию) аттитуды.

3. Апелляция к употреблению слова (“все его вокруг употребляют”) не нуждается в содержательных оправданиях; за “внешне-ориентированным действием” (Riesman, 1967) обнаруживается неготовность к устойчивой самоидентификации в публичном пространстве и амбивалентные идентичности.

4. Самоидентификация посредством дискурса эмоций и когниций (семантики) демонстрирует предпочтение *своего, родного, русского* слова “доброволец”; дискурс привычного действия, напротив, предпочитает *иностранное* слово “волонтер”. Слово “доброволец” вызывает эмоцию, а “волонтер” – нет; эмоциональное отношение к словам формируется в детстве и при сильных переживаниях в любом возрасте. Социализированные в России дети имели шанс получить эмоциональное отношение к “добровольцам”, а “волонтер” системно и массово начал внедряться в связи с Олимпиадой в Сочи, когда даже самые младшие наши информанты из “нежного детства” уже выросли. Слово было воспринято через действие, которое не привило эмоционального компонента.

Правда, информанты имели теоретические шансы сформировать эмоциональное отношение к другим – доолимпийским – волонтерам. С начала 1990-х гг. крупные международные доноры способствовали “переходу России от советского социализма к рыночной демократии” и оказывали помощь, которая шла “на создание и поддержку самых различных неправительственных организаций, работающих в области здравоохранения, образования, защиты прав человека, кризисных центров, молодежных организаций”; поэтому число зарегистрированных НПО в России стремительно выросло [Рихтер, 2004: 470; Richter, 2002: 57]. Часть НПО организовывалась строго по “западным образцам” [Рихтер, 2004: 478–479], вместе с ними пришли технологии локального и мирного (без “больших” пионерии и комсомола и с дискурсом, нормализующим мирную повседневную жизнь) волонтерского участия. Вернулось из предыдущего демократизирующего модернизационного рывка рубежа XIX–XX вв. и основательно забытое слово “волонтер”. Однако это доолимпийское волонтерство импортных образцов не получило укоренения в местных сообществах, а брендирование локально организованного олимпийского движения тем же словом должно, по идее, окончательно маргинализировать воспоминания о волонтерстве 1990-х гг.

Тот факт, что даже на малой качественной выборке интервью с людьми, устойчиво вовлеченными в волонтерско-добровольческую деятельность, выделилась подвыборка информантов, не готовых к содержательному обоснованию самоназвания в пространстве публичного разговора, позволяет предположить, что брендирование массового движения словом, которое воспринимается как иностранное, позволило ознаменовать победу над памятью о демократизирующих инициативах из-за рубежа, но одновременно лишило локально мыслящих активистов движения мотивов выбирать для самоназвания предпочтительное слово.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Вебер М. Основные социологические понятия // Избранные произведения / Пер. с нем. М.И. Левиной. М.: Прогресс, 1990. С. 602–642.
- Кравченко Е.И. Теория социального действия: от М. Вебера к феноменологам // Социологический журнал. 2001. № 3. С. 122–142.
- О добровольчестве (волонтерстве): Проект Федерального закона № 300326-6 (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 21.06.2013). URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=PRJ&n=107564&req=doc> (дата обращения: 27.08.2015).

- Оберемко О.А. Типология межгрупповых противопоставлений: опыт логико-семантического анализа ответов на открытые вопросы // Социология: 4М. 2010. № 31. С. 39–74.
- Ресурс добровольческого движения авангардных групп для российской модернизации: отчет по проекту. ФОМ / Науч. ред. С.Г. Климовой, Е.С. Петренко. М., 2012.
- Рихтер Дж. Правительственность, иностранная помощь и российские НПО // Журнал исследований социальной политики. 2004. № 2. С. 469–486.
- Оберемко О.А., Морозова Е.В., Истомина А.Г. “Формальное” и “неформальное” молодежное добровольчество: отчет по проекту / ККОФ НАЦ “Социум-регион”. М.: Краснодар, 2012.
- Abrams D., Whetherell M., Cochrane S., Hogg M.A., Turner J.C. Knowing what to think by knowing who you are: Self-categorization and the nature of norm formation, conformity and group polarization // British Journal of Social Psychology. 1990. Vol. 29. P. 97–119.
- Allport G.W. Attitudes // Handbook of Social Psychology / Ed. by C. Murchison. Worcester, Mass: Clark University Press, 1935. P. 798–884.
- Banaji M.R., Heiphetz L. Attitudes // Handbook of Social Psychology (5<sup>th</sup> ed.) / Ed. by Susan T. Fiske, Daniel T. Gilbert, Gardner Lindzey. Hoboken, NJ: Wiley, 2010. Vol. 1. P. 356–393.
- Eagly A.H., Chaiken Sh. Attitude Structure and Function // Handbook of Social Psychology / Ed. by Susan T. Fiske, Daniel T. Gilbert, Gardner Lindzey. Hoboken, NJ: Wiley, 2010. Vol. 2. P. 269–322.
- Katz D. The functional approach to the study of attitudes // Public Opinion Quarterly. 1960. Vol. 24. P. 163–204.
- McGuire W.J. Attitudes and attitude change // G. Lindzey and E. Aronson (eds). Handbook of Social Psychology (3rd ed.). New York: Random House, 1985. Vol. II. P. 233–346.
- Richter J. Evaluating Western Assistance to Russian Women's Organizations // The Power and Limits of NGOs / Ed. by E.S. Mendelson, J.K. Glenn. N.Y.: Columbia University Press, 2002. P. 54–90.
- Riesman D. The Lonely Crowd: A Study of the Changing American Character. New York: Free Press; London: Collier-Macmillan Limited, 1967.
- Schwarz N. Attitude Construction: Evaluation in Context // Social Cognition. 2007. Vol. 25. № 5. P. 638–656.
- Schwarz N., Bohner G. The Construction of Attitudes // Intrapersonal Processes (Blackwell Handbook of Social Psychology) / Ed. by A. Tesser, N. Schwarz. Oxford, UK: Blackwell, 2001. P. 436–457.
- Smith M.B. Personal Setting of Public Opinion: A Study of Attitudes Toward Russia // The Public Opinion Quarterly. 1947. Vol. 11. Issue 4. P. 507–523.
- Turner J., Oakes P. Self-categorization theory and social influence // The Psychology of Group Influence / Ed. by P. Paulus. N.Y.: Erlbaum, 1989.

## Коротко о книгах

**ГЛОБАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ / Под ред. А.М. Осипова; Великий Новгород, НовГУ им. Ярослава Мудрого. М., 2015. 300 с.**

Предлагаемая книга – результат творческого сотрудничества международной группы специалистов, продолжающий серию научных работ в русле глобальной социологии образования. Авторы из девяти стран, в том числе России, анализируют опыт решения наиболее острых социальных проблем в сфере образования, сосредотачивая особое внимание на возможностях социологии. Книга предназначена для социологов, исследователей и практиков образования, всех интересующихся современными проблемами системы образования. Может быть использована в учебных целях при изучении курсов социологии, социологии образования, менеджмента в образовании и смежных дисциплин.